**БОРЮН**

Рассказ

На судне царила пугающая, непривычная тишина.

Бледный и замученный капитан «Ореховска» уже третьи сутки безвылазно торчал в штурманской рубке. С рабочего места он отлучался лишь по нужде и в столовую, перехватить что-нибудь на скорую руку.

Главный дизель, сердце любого корабля, продолжал свою смертельную забастовку. Реанимационная бригада машинной команды, возглавляемая стармехом, раз за разом терпела неудачу. Между тем, дикие скалы ирландского побережья были уже хорошо видны без всякой оптики.

То утихая, то поднимаясь с новыми силами, шторм неумолимо нёс неуправляемую и накренившуюся на подветренный борт[1] рыбацкую посудину к прибрежным камням. Шпангоуты траулера жалобно стонали под напором стихий воды и ветра. Словно беспомощная жертва под палаческим бичом, эти судовые рёбра издавали настоящие вопли при особо чувствительных ударах волн.

Альберт Адольфович Баринов в первые же сутки аварийной обстановки попытался дать «Mayday»[2]. Однако куда более рассудительный старпом в буквальном смысле дал ему по рукам, выбив из них телефонную трубку радиостанции УКВ. Здоровенный Никита сгрёб старика капитана в охапку и оттащил в радиорубку. Там он заставил его срочно выйти на связь с береговым начальством флота.

Начальство доходчиво объяснило Баринову, что иностранных денег у флота «нету ни буя». И все операции по спасению лайнера «Ореховск», которые произойдут по его, Адольфыча, инициативе, могут быть оплачены исключительно из его же капитанского кармана. Если, конечно, его настоящая фамилия Корейко. В противном же случае, по возвращении на родной берег его старая задница подвергнется суровой экзекуции путём превращения в копию британского флага «Юнион Джек».

Что ж, ничего нового, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

— Сигнал бедствия подадим, — старпом Никита постарался кое-как утешить старика. — Но только когда нас о камни шарашить начнёт.

— Весёленькая перспектива, — отметил про себя Михаил.

Он поневоле оказался в курсе всех командирских переговоров, поскольку числился младшим штурманом, и его вахты проходили под непосредственным кураторством капитана.

Острозубый ирландский берег, приближаясь, всё увеличивался. На мостике бесцельно маячила долговязая сутулая фигура Баринова. Альберт совсем сдал, и своей кричащей никчёмностью дико раздражал экипаж. Часами он слонялся по бесполезному мостику, подобно бледной тени гамлетовского папаши. Все трое суток этого дикого дрейфа судно имело крен на правый борт. Иногда качка усиливалась настолько, что приходилось крепко цепляться за поручни, чтобы не превратиться в беспомощную тушку, катающуюся у ног коллег. Порой крен становился смертельно опасным, и до оверкиля [3] оставались считанные градусы. Адольфыч повисал на деревянном поручне, крепко привинченном к переборке, словно гимнаст-паралитик на турнике. Скользя башмаками по накренившейся палубе, он издавал глухие, полные тоски стоны.

— Роженица хренова! Добить бы тебя, чтоб не мучился! — глядя на то, как Адольфыч  вяло и беспомощно перебирает длинными ногами, бормотал старпом. А затем  отворачивался с невыразимым презрением.

Поутру шторм ослабел. Капитан побывал в машинном отделении и, повеселевший, вернулся оттуда с трофеем, машинным маслом. Здоровенная жестяная банка была доверху наполнена густым как гуталин тавотом.

— Вот, ребяты! — объявил кэп с фальшивым задором. — Это солидол, он же тавот. Водичка-то за бортом плюс четыре. Попадешь в такую, и через десять минуток остановочка сердца — от переохлаждения. Однако солидольчик превосходный теплоизолятор, и ежели перед купанием успеть раздеться, да им намазаться…

— Можно продлить агонию до четверти часа! — проворчал себе под нос сорокалетний матрос-палубник Георгич, стоящий вперёдсмотрящим на капитанском мостике.

\*\*\*

Провидение всё же решило пресечь суицидальные намерения старого рыбацкого корыта. К полудню прекратился шторм, и, избавившись от ветрового крена, «Ореховск» встал на ровный киль. Вскоре заработал главный двигатель. Кстати, настоящую причину его внезапных забастовок машинная команда во главе с дедом так и не нашла. Просто настроение у старого дизеля поменялось. Захотел, встал. Надоело стоять, заработал. Без объяснения причин. После обеда старпом Никита подозвал Мишку:

— Давай-ка, третий, бери боцмана. И дуйте оба в нижний морозильный трюм. Проверьте, как там наш груз. Пока мы потонуть готовились — не до того было, хотя в трюме грохотало здорово. После шторма и таких кренов, что у нас были, вряд ли там порядок.

Под  «нашим грузом» Никита подразумевал не только плачевные тридцать пять тонн тихоокеанской мороженой ставриды — всю выловленную за два месяца рыбу, но и последнюю «завидную добычу» Ореховска — мёртвое тело с чужого траулера.

Тридцатикилограммовые  ящики с рыбой находились в носовой части. Если бы трюм удалось заполнить до отказа, на все шестьдесят пять тонн, то за груз можно было бы не беспокоиться. Однако теперь, при частичном заполнении, в трюме оставалось свободное пространство. Обычно такие пустоты заполняли неиспользованной картонной упаковкой.

Однако щедрый капитан Баринов, несмотря на возражения старпома, отдал всю тару на другой траулер. В качестве «алаверды» Адольфыч принял на борт деревянный ящик с покойником. Произвёл, так сказать, адекватный обмен. Так что грузу в полупустом трюме было где разгуляться, особенно при той дикой штормовой качке, что недавно приключилась с «Ореховском».

— А я ведь знавал покойного, — рассказывал боцман Саныч, пока они с Мишкой шли к трюму. — Борей его звали. Мы с ним  на одном траулере рыбачили, к Медвежьему за треской ходили. Да вот беда, запоями страдал мужик. Видать, от того и помер. А ведь нормальный был хлопец, весёлый и смешливый. Бывало, всё анекдоты травил. Сам рассказывает, и сам же смеётся, заливисто так, словно дитя малое. Говорят, после захода в Панаму неделю не просыхал, вот сердечко и не выдержало.

Толстый  Саныч первым протиснулся в горловину нижнего трюма. После громкого сопения, пока Саныч спускался по вертикальному железному трапу, снизу последовала длинная непечатная тирада.

— Ну и бардачина, твою маман! — рокотал густым басом боцман. — Убью трюмного!

Хотя он тут при чём? Теперь весь груз размораживать и переупаковывать надо!

Мишка спустился в трюм, где открылась неприглядная картина. Несколько сотен ящиков с рыбой были разворочены и разбиты во время штормовой качки, остальные лежали беспорядочными кучами. Отдельные десятикилограммовые плиты мороженой рыбы, горками и по одному, валялись по всему трюму. Но самая большая и жуткая неприятность ожидала Саныча и Мишку в кормовом конце трюма. Здесь у переборки крепко принайтовали деревянный короб с телом несчастного электромеханика. Ящик-то находился на месте, да только трупа в нём не было. Боковую стенку временного гроба напрочь, словно ледяные снаряды, выбили ящики со ставридой. Они прилетали сюда из носовой части трюма, во время особенно резкой и сильной продольной штормовой качки.

Стали искать покойника. Он нашёлся неподалёку, в ворохе рваного картона и кусков мороженой ставриды. Тело было тщательно завёрнуто в похожую на парусину, грубую серую ткань. С первого взгляда Мишка и боцман поняли, что с трупом что-то не так. Там, где должна была располагаться голова, темнела сизая впадина. Боцманским ножом, стараясь не задеть покойного, Саныч аккуратно взрезал плотную дерюгу. То, что увидели боцман с Михаилом, не забудется ими до конца дней. Белое, как у самой смерти лицо, тёмные провалы глазниц, под полуприкрытыми синими веками налитые чёрной кровью глазные яблоки. Это жуткая маска была плоской, словно портрет, нарисованный плохим художником. От мощного удара нос покойного погрузился внутрь черепа, замороженные губы расплющились. Мертвый моряк скалился на своих живых коллег ровными рядами блестящих металлических коронок.

Саныч побелел лицом и, помянув Господа, неумело перекрестился — слева направо.

— Эх, Боря, Боря! — чуть слышно пробормотал он.

В Мурманском рыбном порту, только лишь «Ореховск» с помощью двух буксиров потащили на швартовку к причалу, на связь вышел диспетчер.

— Вы там приготовьтесь, парни! На проходной отец вашего покойника ждёт. Уже и фургон пригнал, сына забрать.

Быстро настроив грузовые стрелы, боцман переправил скорбный груз на причал. Там его принял с рук на руки сам старпом Никита. Подъехал фургон, из кабины вышел пожилой мужчина и направился к старпому. Никита шарахнулся от старика, как чёрт от ладана и, развернувшись на каблуках, стремглав метнулся вверх по трапу на борт судна.

— Поднимай трап! — впопыхах кинул он опешившему вахтенному матросу.

Несчастный старик растерянно стоял на причале возле ящика с мёртвым сыном. У Михаила, наблюдавшего эту картину с мостика, от стыда и сострадания сжалось сердце. Никита наверняка испытывал нечто подобное. Тем не менее, он подошёл к фальшборту и сверху вниз, обращаясь к старику, принялся громко, на весь причал, нагло врать:

— Вы извините, но у нас на борту строгий карантин. У капитана желтуха тропическая. Редкая инфекция. Вы не волнуйтесь, боцман с матросами сейчас ваш груз в фургон определят, а нас незамедлительно на другой берег Кольского[4] отправят, на якорный рейд, чтобы заразу не разносили. Санитарный врач так и сказал, «строгий карантин на неопределённое время».

Никита поднялся на мостик и длинно, витиевато выругался. Круглое лицо старпома пылало.

— Ну что стоишь?! Что смотришь?! — со злобой бросил он Михаилу. — Сходи за водой, включи чайник, хоть какая-то польза на мостике от тебя будет!

\*\*\*

На второй день стоянки Мишку отпустили, наконец, на отгулы домой, в его мурманскую квартиру. После развода с женой и её отъезда вместе с шестилетней дочкой к новому супругу в Москву Мишка жил бобылём. Чаще всего, бывая на берегу между рейсами, он тупо болел душой, тоскуя по дочери. Вот и на этот раз вместе со своими задушевными корешами, бывшими одноклассниками, а заодно соседями по многоквартирному дому, Саней и Витей, Михаил пил «горькую» пять дней кряду.

Саня и Витя были готовы продолжать свой алкомарафон. Тем более за счёт Мишки. Однако Михаил после беспрерывного пятидневного запоя нашёл в себе силы остановиться.

Первый день трезвости был сущим адом, настоящей геенной огненной, наполненной суровой похмельной ломкой, младенческим бессилием и дикой депрессией. Утром второго Миша без последствий сумел запихнуть в себя пару стаканов молока. На третьи сутки он с радостью почувствовал голод. Это означало, что похмельная болезнь отступает, и скоро всё придёт в норму. Мишка не понимал ещё, что не получил своего главного наказания, мстительной пытки, которую приготовил ему его собственный, отравленный алкоголем мозг.

В глухой ночной тьме за окном дребезжащий старческий голос выводил нехитрую мелодию. Эта была песня о Родине. Кажется, она называлась «Мой край». Зловещее названьице, если вдуматься... Помнится, Мишка вместе с другими первоклашками разучивал её в раннем детстве. Господи, как же они ненавидели эту песню... Поневоле возненавидишь, когда в сотый раз тебя заставляют завывать на уроках пения:

То берёзка, то рябина,

Куст ракиты над рекой.

Край родной навек любимый,

Где найдёшь ещё такой?

Где найдёшь ещё тако-ой?

— Хотя нет! — прислушался Михаил. — Мелодия та же, а вот текст…

В тихом сумраке кладбИща,

В тусклом свете фонарей

Раздаются звуки пищи,

Это кушает БорЕй…

Кушай, Боря! Кушай, милый!

Кушай ножку, ручку ешь!

Над разрытою моги-илой

Воздух ночи чист и свеж!

Воздух но-очи чист и све-еж!

Мишка присмотрелся: за окном, почти попадая в ноты, старательно вокалировала неизвестная, явно сумасшедшая старуха.

«Что за детскую кладбищенскую ахинею эта бабка несёт? И что за Борей такой? Каннибал-трупоед, что ли? И ведь где-то я уже слышал это имечко!» — медленно ворочались мысли в отупевшей голове Михаила.

Мишка почти проснулся. И вдруг, оцепенев от ужаса, понял, что его мозг источает смертельный яд. Тошнотворную, смолистую отраву. Мгновенно попав в кровь, это зелье обернулось блестящей антрацитно-чёрной, гибкой змейкой. Эта тварь обладала каким-то изуверским, сатанинским разумом.

Она добралась до Мишкиного сердца, обвила и принялась мучить его. Рептилия вожделенно шипела. То сжималась в смертельный захват, то чуть отпускала, давая сердцу вздохнуть. Чёрная змейка не собиралась убивать Мишку сразу, она хотела наиграться с ним всласть…

*\*\*\**

Человек в постели свернулся клубком. С ног до головы закутанный в простыню, он лежал в позе то ли напуганного ежа, то ли эмбриона. При этом он по-собачьи подвывал. С горькой утробной жалобой, безнадёжно и тоскливо.

«Что за псих такой?» — изумился Михаил. И вдруг понял, что каким-то странным образом смотрит на самого себя со стороны. Точнее, сверху, от потолка.

«Моуди... Моуди… Моуди… —  застучало в больной голове Мишки. — Что такое Моуди? Зачем это Моуди? Ах да! «Жизнь после жизни», книга Моуди! Это ведь у Моуди речь шла о жизни души после смерти!»

Миша с радостным проблеском надежды осознал, что какая-то часть его разума сохраняет способность размышлять, и даже делает это вполне здраво.

«Но этот-то псих, в смысле я, ещё не помер?! Вон какой живой, шевелюсь и даже вою! Ого! На четвереньки под одеялом встал! Скулю, словно щенок у двери! Неужели это действительно я?! Получается, что при белой горячке у вполне живого алкаша душа тоже может отделиться от тела, и за этим белогорячечным телом со стороны наблюдать?! — продолжал рассуждать какой-то потаённый, чудом уберегшийся от спиртовой отравы, закуток Мишкиного мозга. — Стоп! Это что получается?! Моя отделившаяся душа сейчас, как доктор пациенту, ставит диагноз собственному телу!  Да, мля, допился! Это точно «белая»!»

В этом месте мысленный монолог Мишки был прерван. Гибкая, мерцающая антрацитными отблесками гадина, воплощённый ползучий ужас, добралась до последнего здравого участка Мишкиного разума. То ли каким-то образом до самой, отделившейся и висевшей под потолком, души Михаила. Его тело принялось подскакивать, крутиться и извиваться на постели, словно у одержимого бесами. Ноги сделались ватными, и в то же время икры как будто пронзали раскалённые иглы.

Прошли минуты, похожие на часы, и приступы судорог и удушья наконец прекратились. Михаил прерывисто, со всхлипом вздохнул и вытянулся на кровати. Его нижнее бельё, простыня и даже матрас под ней сделались мокрыми от пота, хоть выжимай.

Миша прислушался к тишине.

«Слава богу! Вроде бы душа опять на месте, да и сатанинская старуха за окном наконец-то умолкла, заткнулась со своей гробовой дичью. Неужели весь этот ад в самом деле закончился?» — с робкой надеждой подумал он.

Михаил присел на постели и почувствовал, что мочевой пузырь переполнен.

«Ничего себе, — удивился он. — Каким только чудом я не напрудил в постель во время своей пляски святого Витта?»

Повинуясь «зову природы» и дрожа от слабости, Михаил опустил босые ноги на пол. Он слишком резко поднялся и тут же рухнул обратно, в постель. Потолок над головой начал вращаться со скоростью лопастей взлетающего вертолёта. Отлежавшись немного, Мишка повторил попытку, но на этот раз с осторожностью и медлительностью столетнего старца. Ему удалось успешно доковылять до уборной и даже справить малую нужду без промаха мимо цели.

Обречённо сутулясь, Миша вернулся в гостиную. Стащил со своей кровати влажные простыни и, убедившись, что матрас тоже не слишком сух, с трудом перевернул  его на другую сторону, словно центнер веса поднял. В квартире было душно. Михаил поплёлся к окну, чтобы открыть его. Ему понадобилось значительное умственное усилие, чтобы понять, что это окно, словно отлитое из чугуна, не открывается внутрь, а сдвигается в сторону, скользя на дюралевых планках. Так или иначе, окно было открыто. В гостиной стало хоть немного, но прохладней. Измотанный непосильной работой, Миша смог вернуться в постель. Он прилёг, расслабился и даже начал дремать, но тут через открытое окно с улицы до него донёсся голос:

— Миша! Миша! Ты слышишь?

— Господи, неужели снова? Нет, не хочу! — сквозь стиснутые зубы в отчаянии забормотал Михаил.

Овившаяся вокруг тёплого Мишкиного сердца чёрная змейка дремала, убаюканная его ритмичными сокращениями. Змейке пришло время проснуться. Сквозь тонкую плёнку засветились горящими угольками её красные глазки. Широко открыв маленькую алую пасть, она зевнула. Обнажились два крохотных белых и острых зуба, мелькнуло серое трепещущее раздвоенное жало под ними. Змейка сладко потянулась. Отблескивающие антрацитом тонкие гибкие кольца вокруг Михайлова сердца сжались, и оно затрепетало, задыхаясь в новом приступе смертельного страха.

— Миша! Миша! Не бойся!— звал голос за окном. — Это Борюн!

— Какого дьявола?! Какого долбаного чёрта?! — вдруг разозлился Михаил и мысленно передразнил он адский голос: — «Миша, не бойся! Это я, Борюн»!

Действительно, странно опасаться ожившего плотоядного мертвеца. Такого масечку! Такого лапулю!  Нет! Нет! Это всё происходит в моей больной голове! Я трясусь как заяц от страха, из-за собственных фантазий, грёбаных белогорячечных галлюцинаций!

Собрав в кулак жалкие остатки воли, Миша заставил себя подняться с постели и подойти к окну. Он молитвенно и горячо надеялся, что никого не увидит на ночной улице. И правда, за окном было пусто. Вышло из облаков и засияло в небе ночное светило — круглая, пористая и желтоватая, как лаваш, огромная луна. Михаил собрался было перевести дух. Но тут, объятый новой волной ужаса, почувствовал, что в комнате кто-то есть. В ноздри пахнуло жжёной бумагой и прелыми листьями. Миша вновь каким-то чудом взял себя в руки и даже решил задать вопрос тому, что находилось сейчас с ним в одной комнате. Однако Мишу опередили.

— Что тебе от меня надо? — печально и устало поинтересовался голос за его спиной.

Волосы на многострадальной Мишкиной голове зашевелились и поднялись дыбом. Именно этот вопрос должен был прозвучать в освещённой неверным лунным светом комнате. Вопрос прозвучал, но только не от Михаила. Он продолжал стоять, судорожно вцепившись в нижний оконный створ, не в силах пошевелиться или, тем более, подать голос. Воля окончательно покинула Мишку, сейчас ему хотелось одного — сдохнуть, сдохнуть и ещё раз сдохнуть. Умереть мгновенно и немедленно. Только бы ничего этого не видеть, не слышать и не чувствовать…

Прошло значительное время, прежде чем Михаил смог разлепить пересохшие губы.

 — Ты здесь, Борюн? — просипел он почему-то через левое плечо.

 — Да! — коротко ответили Михаилу.

 — Что тебе от… — начал было Миша, но осёкся. — Чего ты от меня хочешь? — поправился он.

 — Я ничего. Это ты меня позвал! — с ноткой удивления отметил невидимый Борюн. — Зачем ты меня потревожил?

Внезапно Михаила охватил истерический гнев. Он резко, всем корпусом развернулся на голос, звучащий за спиной. В полумраке, в ветхом кресле у стены маячила сгорбленная фигура. Существо было завернуто в мешкообразную хламиду. Лицо призрака укрывало подобие рваного капюшона.

— Я тебя не звал, тварь! — собирался проорать Михаил, но из его глотки вырвались лишь какие-то сиплые хрипы.

Миша сполз на пол и, привалившись к стене под окном, зашёлся в приступе сухого надрывного кашля. Только лишь он успокоился, как призрак в кресле засмеялся. Заливисто, звонко и заразительно, словно ребёнок. Солнечный, да нет, скорее лунный смех в глухой тоскливой ночи. Адская пародия на веселье. Не радость жизни звучала в нём, а радость смерти. Инфернальные звуки мертвящим холодом достигали самого дна Мишкиной души.

— Да нет, Миша! Это я тебя не звал! — отсмеявшись, с явной иронией в голосе продолжил Борюн. — На что ты мне сдался? Вот и боцман Саныч, знакомец твой по «Ореховску», подтвердит. Он уже пару суток, как того… неподалёку. Позвать его?

— Не надо! — только и сумел прохрипеть Миша.

— Ха-ха-ха! — вновь зашёлся своим «лунным» смехом призрак. — Ну не надо, так не надо! Только вот что. Если в следующий раз упьёшься до «белой», меня не зови. А то мы тебе такой фильм ужасов из жизни демонов продемонстрируем, дочь родную не узнаешь! Нынешнее кино тебе «Золушкой» покажется! С Яниной Жеймо[5] в главной роли!

— Как это? Что я? От меня не зависит! — забормотал, оправдываясь, Миша.

— Зависит-зависит! Я тебя научу! Чего уж там, сам запойным был, оттого и помер, — перешёл Борюн на более доброжелательный тон. — Как оклемаешься, посети церковь православную, да закажи попу молитву «За упокой» рабу Божьему Борису Борею.  Да поставить свечку не забудь! Это и тебе поможет, душа христианская.

— Так ведь я же некрещёный! И вообще, у меня мать еврейка! — удивлённо возразил Михаил.

—  Христианство — не религия, а место души в мироздании. Оно от нации не зависит, — назидательно отвечал Борюн. — Вот и у меня тоже бабка правоверная иудейка была, и что? Между прочим, у тебя дочка крещёная. Ты же её сам крестил, или забыл?

— Да к чему это всё? Ясно же, что жизнь моя накрылась! — оплакивая себя, заныл Мишка. — Да и сам я законченный алкоголик. Вот, до тебя и белой горячки допился!

— Дурак ты, а не алкоголик! — буркнул из кресла Мишкин собеседник. — Драка у тебя в душе, серьёзная драка! Твой ангел-хранитель с твоим же личным бесом схватились… Пока что нутро у тебя крепкое, здоровое, но водку больше не пей, не твоё это…

Невероятно, но шизоидная беседа с покойником начала действовать на Мишу успокаивающе. Волны страха притихли, и Михаил даже почувствовал любопытство.

— А про дочку мою откуда знаешь? — робко вопросил он.

— Я знаю всё, что знаешь ты! — был ответ. — И ещё больше, чего не знаешь!

\*\*\*

— Мужики, скорую вызывайте. Заболел я, «белая» у меня, — опустив глаза в пол, глухим голосом попросил Михаил открывших ему дверь опухших соседей-собутыльников.

Специальная неотложка приехала быстро… Михаила погрузили в скорую, пристегнув поперёк груди ремнями к носилкам.

На входе в приёмный покой областной психиатрической больницы Михаила встречала восторженная смешанная толпа, состоящая из медработников, обслуживающего персонала, а также наиболее адекватных пациентов. Мише бурно рукоплескали, в его честь произносили пышные здравицы. Он же только смущённо улыбался с носилок и скромно помахивал свободной от ремней половиной кисти.

В приёмном покое Мишку переправили на больничную койку. К нему подошёл врач в белом халате и с чёрной с проседью бородой. Взглянув на Михаила, доктор по-доброму печально улыбнулся и спросил:

— Ну что, дружище, заболел?! Ты же молодой парень! Не рано тебе до белой горячки упиваться? Рассказывай, как же ты дошёл до жизни такой?

**Призрак**

«Белой горячке» посвящается.

Чей-то смех в пустынном доме, смутный шёпот у виска.

На столе стакан, а кроме — нож и смертная тоска.

Тяжкой ночью, душной ночью он приходит нелюдим.

Тот, кто странно напророчен, тот, чей смысл непостижим.

В лунной призрачной сутане, балахоном лик сокрыт.

Близ стола с тоской в стакане он садится и молчит.

В тишине бегут минуты, призрак рядом недвижим,

Как натурщик неизвестных, незаконченных картин.

Будет день и будет пища, плач и хохот, свет и звук.

А пока сидим не дышим. И молчим, и ночь вокруг…

 1999 г.

[1] **подветренный борт** (мор.) – сторона судна, противоположная той, в которую дует ветер, т.е. наветренной.

[2] **Mayday** – радиотелефонный (голосовой) международный сигнал бедствия аналогичный сигналу SOS

[3] **Оверкиль** (мор.) – опрокидывание судна вверх килём (днищем), вследствие недостаточной поперечной или продольной остойчивости.

[4] **Кольский залив** – залив-фьорд на севере Кольского полуострова. Здесь располагается крупнейший за полярным кругом порт Мурманск.

[5] **Дед** (морск. сленг.) – старший механик.

[6] **“Кормовик” (**здесь и далее обозначается, как МРС – морской рыбацкий сленг) – траулер, промысловое судно кормового траления.